

ЧЕРНЫЙ ТУМАН

Рассказ

Узе давно бегут муласки, а в голове – килпиць, тязёлый-плетязёлый и класный. Килпици всегда класные. А муласки не визу, они холодные, я от мулазек замёлз, а мама головит, у меня – зал. Она сюпает лоб. Мама не лубит когда муласки, я – тозе. Мама уклывает меня под одевало, подтыкнула. Одевало холодное; голову к подушке плизал килпиць, тязёлый. Мама головит, ей совсем не нлавятся мои муласки. А они бегают по ноге и по зивуту.

Я лязу и глеюсь, но не мозу выглеться: всё – холодно, и вовнутли – лёд. А в голове – килпиць, голуву повелнѣс, а он – тлескаться – больна! И блови упухли, на глазах свиснут.

Мама подушла, говолит, я сосал сосульки, а я не сосал: я больсой, знаю, нельзя сосать сосульки, они для класоты. А для вкусоты – молозено. Мы с Васькой купили один, два, пять, тли молозено – много вкусоты. Мы скусили всё, вот поцему вовнутли лёд. А сосульки я не ем: я не дулак, я холосьый. А одевало плохое – не хочит меня глеть. Я мѣлзну, а мама головит, зал. А я совсем очень не залкий...

– Мама, дай Мулзика. Он тёплый и мяккий. Я быстло соглеюсь.

Мама плинесла гладусник, всунула в подмышку. Ой-ѣй, холодный. Мама головит, так надо. Телпю. Долга! Килпиць давит, в лобу болит, а я не стукался лобом. Мама сядит лядом. Она сама класная, сельѣзная и не сутит. Только гладит волосы и ласказиваит. Мама взяла гладусник. Ланьсе я болел и гладусник всегда помозал. Него надо наказать и лазбить. Мама нево поза-лела и только помахнула: пелдупелдила, а я лазбил бы. Нехолосых надо бить и вставить в угол.

– Дадай лазобью! Он нехолосый. Даи лазобью. Он сам в подмышкой соглелся, а мене не соглел.

Не дала. Отдала папе, говолит, тлицадевать и дува. Папа усол. У мамы лицо класное совсем. Килпиць, а не лицо. Сла туда и сюда. Тозе усла. Головят с папой. Стласно головят: тихо и сопотом. Головят быстло и неспокойно. А я пухну. Лицо упухло. Стало залко. Одевало не надо. Оно моклое и подуска моклая. Я запотел одевало. Афлика! В Афлике залко. В Афлике зивут неглы. Хоцю быть неглой: когда лозается негла, нево окунывають в соколад. Потому неглы колицьневые. Холосо окунываться в соколад. А мозет, их окуновывают в каку?

– Мама! Мама! Во сто окунывають неглов? Неглы – это в Афлике зивут. Не надо меня укльывать. Я соглелся. Гладусник холосый. А я хотел лазбить, а он холосый, плавда? Ой, мама, а у неглов есть холосые гладусники?

...Узе вецел. Окна класные, и стена класная. Одевало залкое и воняет. В зивоте молозено ластаяло. Подуска твѣлдая, а голова мяккая и упухся. Залко. Пальцы слипцивые как неглы после соколада. Мама усла. Сумит сум в длугой комнате. Говолят голоса. Кто-то плисол. Входит белое на класное. Мама вклюцает свет. Воклуг туман. Визу класную маму и белую дядю. Они головят. У дяди усы и сумка. Сумка больсая, а дядя белый и стласный, от него идѣт туман. Всё бело, а на велху – усы. Я боюсь. У дяди в луках – вукол. Он злой и белый. Я хотел быть неглой, а меня укунули в кипяцѣное молоко!

– Мама, убели молоко! Ты зе знаес, я не лубю кипяцѣное молоко!

А злой белый дядя готовит вукол. Мама убилает одевало. Пелевола-цивает меня на зивот. Я тыкаюсь в белую подуску. Клугом бело!

– Мама, не надо вукола, одевало тозе белое!

Я заклыл глаза. Там белая сумка с усами. Стласно. В бловях – тязесть. А с заклытыми глазами класный свет. Снимают плавоцьки. Будет вукол. Это больно. Не хоцю, не надо, не буду! Белый – злой. Плохие усы. Они глинные как у Мулзика. А Мулзик завтла меня поцалапал. Ой, вата! После неё всегда вукол. Мама головит, это доктул. Все доктулы стласные, белые. Ай! Нельзя! Больно! Плохие!..

Плаццю в подуску. Мама целует и уклывает. Доктул усол. Нему холосо, нему не больно. Большой, плисол и обидел. Вот выласту, тозе нему вукол поставю. Сколей бы... Мама выключила свет, села лядом. Залко и темно. Воклуг цёлный туман. А мезду окнов очень темно. Там стоят люди. Они высокие, они нехолосые, но стоят смилно, боются маму. Цёлные неглы. Оглomные-е. И за окнами – на вулице – кто-то заглядывает, смотрит, но не влезут. Мама лядом. Я вздыхнул. Хоцю спать. В голове – опять килпиць. Тыкаюсь в маму. Она – в цёлном тумане.

...Сколо день лозденье. Мама головит, сколо, послевцела. А сиця день лозденья у лисенёнка. У лызего такого. Он сидит под столом. Он здёт длугих звелёнков. Будут подалки. Вот они плиходят. Звеленёнки плясют. Весело! Я иду к ним. Мы бегаем, иглаем. Там толт. Бальсой и вкусный. Звеленёнки кусают, но в небе облака. Цёлные-цёлные. Летят бабки-ёски. Они пугают и стласные. Я пляццюсь под одевало. Бабки-ёски меня не видят и говолят. Они говолят, плазник – плохо, цёлный туман – холосо. Они говолят, меня надо укласть и скусать. Они лохматые, глянзные. Плохее неглов. Звелята лазбезались. Лисенёнок плацет.

– Мама! лисенёнок плацет! Бабки-ёски заблали толт!

Мама в цёлном тумане. Она стоит в двели. Мама стланная. Она – цёлное пятно. Кливая. Мама не головит, а стланно сумит. Бабки-ёски бояться, смотрят на маму. Они отосли к окну, говолят, давайте отлавим маму. Одна бабка-ёска белёт зелёный помидол. Бабки-ёски смеются, они говолят, скусай, мама, зелёный помидол.

– Мама, не ес зелёный помидол!!!

Мама белёт и ест. Она кливая и кливится. Цёлная в тумане, а в луке помидол.

– Мама, нельзя есть зелёный помидол! Мама, мама! Сто ты делаес?! Он зе зелёный! Зелёный! Мама!

Мама плакала в цёлном тумане. Мама стала цёлным туманом, а бабки-ёски долго – до утла говолили и говолили. Я плакал. И туман плакал. И в тумане кто-то ходил.

Рассказ

В 1628 году в Великомученицком монастыре, что у берега Онежского озера, некий дьяк Порфирий по изъявлению архиепископа Константина составлял перепись имеющихся книг. Настроение у дьяка Порфирия было отвратительное: как раз сегодня должна была прийти Малаша и принести брусничной браги, а он оказывался занят. У дьяка Порфирия текли слюнки при мысли о знатном лакомстве и о Малаше – младшей дочери Гришки Заборольного. Тот хоть и был юродивый, а дочки выросли на загляденье.

Дьяк Порфирий повздыхал-повздыхал и достал из кованого сундука целый ворох грамот. Писаны они были на телячьей коже. Он стал их вносить в список. Разворачивал, по складам читал заголовок, причмокивая слюнявым ртом, всякий раз задумывался на пару мгновений и только после вносил корявой скорописью в список. Одна из рукописей его насторожила, лишь пальцы коснулись её. На пергамен она похожа не была, от чего-то по краям слоилась, будто несколько кож кто-то склеил. Дьяк Порфирий пригляделся, так оно и было. Дьяк Порфирий поскрёб толстым жёлтым ногтём, понюхал, лизнул и пришёл к выводу, что клеили на смолу. Он развернул грамоту и прочитал: «Яз поядеах людие». Вздрогнул.

«Что это?» – подумал он и решил прочитать странную грамоту.

Дверь скрипнула ржавыми петлями, и вошёл настоятель отец Артемий. Был он толст, но выражение лица имел всегда самое постное. Все знали: разговляться отец Артемий любил.

– Это писано не от Бога, – с дрожью в голосе сказал дьяк Порфирий и протянул грамоту.

Отец Артемий глянул на ту одним глазком и поморщился:

– Знаю. Это писано от человека. На исходе двенадцатого века он водил людей на лысую гору. Он устраивал блуд, заставлял поклоняться идолам. Много христианской крови там пролилось. Потом Бог обрушил огонь и серу, и гора ушла под землю.

– Это правильно... случилось, – заметил дьяк Порфирий, качнув головой. – Бесовским пляскам не место на Руси. Но что это за грамота?

– Он описал свои дела. Говорят, всего три листа. Каждому ученику – по листу. Тех поганцев тоже трое было. Двое скрылись, а последнего сожгли, и в пепле нашли этот лист.

– Он не сгорел?

– Грамота не горела в огне, не тонула в воде, не рвалась на куски, не оставалась в земле и всегда тянулась к людям. Она ищет того, кто мог бы стать новым учеником... Было решено хранить её здесь.

Дьяк Порфирий не поверил. Отец Артемий добавил:

– А ты почитай, а потом огоньком можешь...

Дьяк Порфирий стал читать. И чем больше он читал, тем ему становилось всё невыносимей, удушливей, жарче. Перед его очесами вставляли страшные картины: невиданный блуд, кровавый алтарь, зловещий Перун, смотрящий на язычников и радостно принимающий жертвы, люди, едящие стариков и младенцев, беременные женщины, которым выкалывали чрева...

Дьяк Порфирий с отвращением выпустил грамоту из рук. Он понял, что писано сие на человеческой коже.

Отец Артемий поднял лист с пола и поднёс пламя свечи. Огонь лизал грамоту, но та не загоралась. Отец Артемий убрал свечу:

– Поверил?

Дьяк Порфирий молчал.

– Забудь о бесах прошлых, – сказал отец Артемий. – Я не просто так зашёл. Тебе надо ехать в город.

– Зачем? А перепись?

– Грамоты подождут, а спасение души нет. Ты дружен с Никиткой. Уговори его. А то у Фёдора нашего лихорадка сильнющая.

Дьяк Порфирий встал:

– Это можно. А что Никитке сказать?

– Поймали мы колдуна одного. Вечером осудим. Не видит он пути истинного. Глаза его обманывают. Надо выколоть. Фёдор мастак, да вот беда – жарит его лихорадка. Бредит, святая душа. Так что поезжай, а я за Фёдора молиться буду.

Они спустились во двор. Дьяк Порфирий залез на телегу, поудобнее устроился на соломе. Отец Артемий сказал: «Ну, с Богом!» – перекрестил и отправился к трапезной, проверять яства на пригодность в пищу. Пахло свежим ржаным хлебом. Дьяк Порфирий облизнулся и сказал: «Трогай!».

Мужик крикнул: «Пошла!»

Завизжали колёса, затрещали оглобли – лошадь потащила телегу. Они выехали за монастырские ворота, и дьяк Порфирий лёг. Телега тряслась, навевая дремоту. С Олежского озера дул тёплый ветер. День стоял солнечный. Дьяк Порфирий заулыбался, вспоминая несгораемую грамоту. «Силён диавол, но справимся, справимся», – подумал он и присел. Навстречу телеге шла девушка. Когда поравнялись, сказал:

– Останови.

Малаша забралась на телегу, и они снова поехали.

– Здравствуй, Малаша, – сказал дьяк Порфирий, забирая у неё крынку. – Брусника? – спросил и, сделав несколько глотков, замочил бороду. – Хороша бражка. Умелица ты.

Малаша улыбаясь потупила глаза. Дьяк Порфирий не спеша допил, убрал крынку в сторону, взворошил солому.

– Езжай, не оглядываясь. Как тебя там?.. Холоп, – сказал он и уложил Малашу. Потом задрал её суконное платье и, прикрывшись рогожевым меш-

ком, предался блуду.

В 1928 году в так называемом Великомученицком монастыре, что у берега Онежского озера, молодой красноармеец Сивухин проводил ревизию. Он достал из старинного кованого сундука какие-то церковные клеёнки, свёрнутые в трубочки.

Красноармеец Сивухин был очень любопытен. Он даже умел читать. Он развернул одну клеёнку и увидел забавные буквы. Но, как ни старался, прочесть не мог. То ли почерк корявый, то ли не по-русски написано. Насупившись от обиды, он побросал бумаги в жестяное ведро и поджёг.

Сивухин заулыбался, вспоминая то множество церковных книг, которое он сжёг. «Силён бог, но справимся, справимся», – подумал он и стал греть озябшие руки над огнём.

Бумаги сгорели. Все. До одной.

СИГНАЛКА

Рассказ

Мишка собирался порыбачить после школы. Половить широк на удочку да проверить морду, спущенную вчера. А что ещё делать в начале ноября? Картошку выкопали, капусту срезали, а «мятные», помороженные первыми студеными ночами ранетки остались только на макушке на радость птицам. Да и рыбалка эта – не просто развлечение, а польза – ежели рыбка крупная – можно и на сковородку её, а мелочь – так подкопить, да мама потом через мясорубку её, сала кусочек туда ж, хлебушка, яичко, если есть, конечно, – и всё, котлеты от магазинских не отличишь! А уж столовские и рядом не валялись!

Нет, конечно, можно было закинуть домой пакет с тетрадками да учебниками, и айда с ребятами грязь месить по посёлку. Но чего толку-то? В казаки играть, Витька опять начнет сигаретами трясти, батю свою изображать, сплёвывать и материться. Сашка скажет, пойдём на Тракторную, а там драка опять будет, чё туда ходить-то? Там Амирадна живёт, наркотой торгует...

Уж лучше к речке, тем более, что протекает она узенько как раз за огородом: вместо забора – обрыв с торчащими сухими бадылями, отживающей резной крапивой, пахучей осыпающейся полынью. Речка – Олхатка – неширокая, однако ж и не перепрыгнешь, спускалась с гор, извивалась в долине и в омутах давала кров широколобкам. Вот летом, когда компанией, кто взрослей в самый омут – рыб пугать, остальные их гонят, а потом рыбки и сами в сети плывут, заранее расставленные по течению...

Но то летом...

До рыбалки надо перекусить, и Мишка отрезает два куска хлеба от

купленной по дороге булки, остальное любовно заворачивает в полиэтиленовый пакет и кладёт в центр обеденного, покрытого грязной клеёнкой, стола. В морозилке за куриным супнабором притаился бумажный свёрток с... ммм... маргарином. Мишка положил на хлеб ярко-желтые тонко нарезанные пластики, посыпал их сахаром. Такой пир он не каждый день себе устраивал. Вот поест, порыбачит – и картошку пора будет чистить на семейный ужин. Но это потом, а пока, откусывая кусочек за кусочком, Мишка громко швыркал горячим трижды заваренным чаем...

Вдруг залаяла Найда. Кто-то пришёл.

Мишка вышел во двор. В приоткрытую перекошенную воротину заглядывали женщины. Одну он узнал: та уже несколько раз приходила к матери, ругалась, грозилась, допрашивала Мишку так, будто мамы рядом и не стояло:

– Был в школе сегодня? Что сегодня ел? Почему на коленке ссадина? Где сестрёнка, где братик? Тебя на Тракторной видели, с кем дружишь оттуда? – и так далее.

А Мишка всегда честно и серьёзно отвечал:

– В школе был! Ел макароны! На физре играли в футбол, вот и упал. Галька и Борька у тети Маши гостят в городе, это мамина сестра, она врачиха, а в детсаду ремонт – потолок упал, вы не слышали?

И привирал иногда:

– А на Тракторной не был!..

Сегодня знакомая женщина была в полицейской форме: пиджачок, юбочка, – нарядная, одним словом. Мишка аж залюбовался.

– Собаку закрой! – донеслось хором из-за ворот.

Мишка в пару прыжков подскочил к Найде, обнял её, погладил по спине. Лохматая псина замолчала, но волны гнева продолжали перекатываться по загривку. Он с усилием развернул её, прикрикнул и запихнул головой в конуру, вставил полусгрыженную доску во вбитые металлические скрепы.

– А щенок где?! – громко спросила знакомая.

Мишка только пожал плечами. Мол, знать не знаю, бегают где-то по улице, поди.

Озираясь по сторонам, во двор вошла комиссия: знакомая полицейская, три незнакомки в деловых костюмах, в таких ходят тётеньки в телевизоре, и один мужик в робе и с дрелью в руках. Подойдя к крыльцу, гости вдруг обнаружили хозяйские замашки.

– Так, капусту убрали, а чего листья валяются на огороде?

– Почему забор не почините?

– Да мужика у Таньки нет.

– Ага, нет, каждую неделю с новым бухает, знаем мы, а дети все зачуханные! Чё, за бутылку никого нанять не может забор подпереть?

– Ждёт, пока старшенький подрастёт?

Смеются. А Мишка только глазами хлопает: как же! Забор новый справить – так это ж доски нужны, а не бутылка, а где их взять-то?

– Так, дрова купили? Ага, вижу... Свинья у вас ещё вроде была? Ага, слышу...

И, не спрашиваясь, пошли в дом. А Мишке стыдно вдруг стало: пол не подметён ведь, со стола-то не убрано, а тетрадки на стуле валяются.

– Обедаеть, значит? Чего тут? Ага, ниче не сварено. Сковородка немытая. Мать где?

– На работе...

– Знаем мы её работу. Младшие где?

– Так ещё в детском садике. День же, где им быть-то?

– А ты? Со школы только пришёл?

– На автобусе приехал... со школы. На школьном автобусе я, – ему вдруг показалось очень важным, что он не пришёл пешком, а именно приехал на автобусе.

– В каком классе учишься? – спросила одна из тех, кто в костюмах.

– В шестом, – тихо и растерянно ответил Мишка.

– Так, с продуктами у вас получше стало, – сказала знакомая, когда проверила холодильник и буфет, и обратилась к остальным. – Видите, летом крыша протекала, в полах – щели, под потолком – тенёты. В грязи живут, а я тут ходи их проверяй. Короче, до первого загула, а там детей отбирать будем.

– Крепить будем здесь, в спальне! – вдруг невпопад сказал мужчина в робе.

– Смотри! – сказала знакомая. – Мишка, ты взрослый уже. Это ради безопасности ваших младшеньких... В городе мы провели благотворительный концерт, на средства, собранные от него, мы купили вот эти замечательные пожароизвещатели для таких семей, как ваша! Если вдруг начнётся пожар, он как заорёт! Спать будете – так все проснётся! Зато никто не задохнётся, не сгорит...

Мужчина привинтил плоскую коробочку к потолку. На ней замигала красная неонка.

– Запомни! – мужчина обратился к Мишке. – Она может среагировать на дым, сырость и пыль. Так что печку топите аккуратнее, крышу залатайте, чаще убирайтесь, да пылюку не поднимайте!.. В случае пожара немедленно выводите всех из дома! Если пожара нет, звук сам прекратится через пару минут. Смотри! – и поднёс зажигалку к прибору, чиркнул...

Что тут началось! Мерзкий, тонкий, отдающий звоном в ушах, но главное – невыносимо громкий – сигнал выкурил из дома абсолютно всех, и в первых рядах – тех, в костюмах.

– Вот видишь! Не пропадёте...

Мишка отошёл на середину двора, зажимая ладошками уши. Голова кружилась, сердце готово было выпрыгнуть из груди, а в голове звучал этот

душераздирающий, не предназначенный для человеческого слуха, писк.

– И не дай Бог открутите! – пригрозила знакомая.

Когда звук прекратился, с чувством выполненного долга благодетели покинули двор.

Мишка выпустил Найду, обнял её за шею и молча посмотрел в огород. Рыбалка отменялась. Когда утих звон в ушах, Мишка чмокнул собаку в щёку, потрепал по голове и пошёл домой.

Пульсирующая красная бусинка под потолком притягивала взгляд. Как замороженный он смотрел на неё и смущался её присутствия, словно вошёл не в свой дом. Огонёк мерцал, будто предупреждая: я здесь хозяин... И было что-то ещё в этом мигании-подмигивании: нехорошее озорство, злобное веселье, обещание хлопот.

«А как младшие услышат? – подумал Мишка. – Я кое-как очухался. А уж им-то...»

«Обязательно услышат, – подмигнула бусинка. – Вот печку вечером топить станете и услышите. Все».

«А если ночью дождь пойдёт?»

«Дождь будет обязательно. Вот увидишь», – подмигивал огонёк.

И Миша пошёл за отвёрткой.